

[Не]встреча

*Посвящается Зу,  
моей драматической матери*

I.

Ты спишь сейчас в чужом городе в чужой квартире с чужими людьми в чужой кровати. Все тебе чуждо и незнакомо. Но сейчас ты спишь, поэтому через сон выиграл короткий период покоя и бездумья. Сны тебе не снятся. Никакие. Потому что тебе надо отдохнуть. Я хочу укрыть тебя одеялом из своей заботы, чтобы никто не мог тебя побеспокоить в эти часы, чтобы ты набирался сил, чтобы чужие город, квартира, люди, кровать не стали для тебя неудобными. Пусть завтра, когда ты проснешься, встречающие тебя будут приветливы, пусть они по-библейски предлагают тебе приют. Пусть на твоём пути тебе не попадаются кочки, комки и топи, а казахские ветры не сильно сыпят песком. Пусть встреченный луг будет мягок, а вода – чиста, пусть твой путь будет верен и безопасен. Ступай без опаски по тропам чужой страны, и знай, что мы, оставшиеся по эту сторону только что возведенной стены, обнимаем тебя заботой и любовью

Господи! Во мне столько любви! Не так давно я говорила это. «Во мне столько любви!» Очень много. Даже сейчас во мне больше исступленной любви, чем ярости, о которой говорит Зу. Я в растерянности смотрю вокруг, не в силах отринуть свою любовь и в недоуменном молчании не умея ее никуда приладить. Эта любовь во мне озадаченно разводит руками, глаза у нее большие и синие, а лицо мягкое и округлое. Брови по-детски наивные, а руки теплые и заботливые. Она рождена обнимать, обволакивать и окружать. Она не умеет спешить, не умеет быть резкой, не умеет прикрыться за хлестким сарказмом, и ей этого не нужно. Она, растерянная, не знает, куда ей идти, и к кому протянуть свои теплые мягкие руки. Она непоколебима, она вне времени и пространства, она – словно невидимая богиня в горящей Трое, когда все вокруг со скоростью колесницы несется к разрушению и горит, а она стоит величественно и твердо посреди этого зарева и горюет о невозможности покоя в других

Но это – не наша война, но наши жертвы. Оставляй все лишнее по эту сторону, пересекай океаны и реки, обустраивайся снова и снова. Следуй за своим умом и сердцем, благо у тебя есть они оба. В тебе уже есть мудрость лет, но еще сохранена сила молодости. Ты справишься, хотя и постареешь. Дорога добавит тебе пару морщин, плечи чуть ссутулятся, но чтобы снова распрямиться. Я верю в тебя, верю тебе, верю всеобъемлющей Любви, которая видит тебя в этом безумии людей и событий и выбирает тебя, чтобы обнимать своими теплыми ладонями. Вот и сейчас она подходит к тебе, спящему на диване, в чужих стране, городе, доме, и вглядывается в твое лицо. Ты прижимаешь лицо к подушке – или подушку к лицу, чуть сопишь во сне. Кожа хранит летний загар, футболка белая и с дырочкой – ты ее закинул в рюкзак, собираясь спешно. (А что еще ты успел взять?) Складки на лбу разглажены во сне, плечи расслаблены, губы мягкие, всегда чуть неопрятная щетина. На лоб сполз завиток темных волос, очень красивые у тебя волосы. Спишь и набираешься сил. Она разглядывает лицо спокойно, с улыбкой. Знает, что ты не проснешься от ее присутствия. Она не дышит, не задерживает воздуха, дышать ей не нужно. **Моя Любовь** прислоняет свои ладони к твоему лицу, передает тебе их тепло, задерживает на какое-то время, и, убирая, распрямляется. Она уверена в своем выборе, и теперь неспешно садится в кресло у стены напротив, глядит на твой силуэт минуту и отворачивается, потому что теперь знает – ты не исчезнешь, пока она хранит твое присутствие

Мне снились ужасные сны последние несколько дней. Теперь я вижу в этом какое-то предзнаменование, хотя понимаю, что при прочих равных предпочла бы забыть. Сны были настолько ужасные, что я даже побоялась их рассказывать. А теперь их как будто пора записать, но и записывать

страшно. Я знаю, что один из кошмаров навсегда останется во мне, как тот сон про бессилие. Я до сих пор помню, как пыталась защитить то, что люблю, своими руками, и как их все время было недостаточно. Наверное поэтому у **моей Любви** ладони большие и мягкие: чтобы хватило защитить и закрыть, укутать. Зу нагадала мне по осени перелом в жизни. Это он? Но это не мой перелом, это – коллективная травма. Бессмысленная и неотвратимая. Я будто фаталистически тогда готовилась к этой осени, не давала ей перегадывать, хранила то предсказание, уверившись в его истинности. Но если этот перелом – мой, то что мне с ним делать теперь? Я растеряна, и, в отличие от **моей Любви**, не знаю, что мне делать и кого обнимать

Я сейчас вспоминаю, как мы праздновали твой день рождения летом. Подумать только, тебе 30! Вы все старше меня и шутите про это. Я не против. Кажется, что это какое-то другое лето в другом мире. Война уже началась, но мы к ней как-то пообвыкли. Тебя не забирали, ты был полон планов и надежд, а я вся превратилась в ожидание похода, драмы и всего, что мне готовило лето. Много смеялись, пили, шутили. Потом ночевали у тебя. Помню утреннее пение соседа, кошек на подушке поутру, тебя, помятого со сна, себя, летнюю и голодную. Наслаивается наш с тобой последний разговор. Ты сказал тогда, что недоволен своей жизнью сейчас. И теперь я жалею, что не расспросила. Вот так

Если всех заберут, то с кем мы останемся? У нас отнимают. Больше и больше. Я смотрю вокруг и вижу, как силуэты вещей и явлений выдергивают из пространства вокруг меня. Я как в тумане, и что-то то и дело утягивает кого-то рядом со мной, беззвучно и неумолимо. Пока я оборачиваюсь к исчезающему, с другой стороны хватают кого-то еще. Самое главное, что мы ко всему привыкаем. Сначала забрали Европу. Это не потеря путешествий, это – сужение взглядов и круга обзора, кругозора. Потом забрали свободу слова. (Пытаются вообще забрать слово, но это невозможно, этого никогда не произойдет) Хотели забрать чужие языки, не понимая, что нет ничего однозначно чужого. Это не произойдет быстро, но если они будут слишком пытаться, то однажды у них получится. Чужие языки будут жить фрагментами в нашей речи, пока не исчезнут свидетели их чужести, и оставшиеся не уверуют в их изначальную нашесть. Теперь они забирают наших мужчин, наших мальчиков. Что нам делать теперь? Где нам взять друзей, где нам взять мужей? Как мне сохранить друзей, как мне уберечь мужей? Как мне всех объять, как нам всех обнять?

Я за последние дни очень часто вспоминаю твое лицо. Глаза у тебя голубые. У Л. не такие, у нее – карии. Вот в чем ваше отличие основное! Сейчас отчетливо это вижу. У тебя – голубые, у нее – карии. А какие у вашей матери? Наверняка карии, настоящая еврейка. Как бабка, которая кормит всех кошек на улицах Иерусалима. Я завидую **моей Любви**. Она теперь видит тебя наяву, а я – только в воспоминаниях. Мелочно усмехаюсь, потому что пока ты спишь, она тоже не в силах разглядеть твоих глаз. Она чувствует мою ухмылку через расстояние и грустно смотрит на меня своими синими влажными озерцами глаз – сочувствие и ни толики упрека. Потому что она знает, что ехидство родилось от отчаяния. Я не в отчаянии, просто плакать хочется

Интересно, что чувствовали люди раньше, когда шли воевать, убивать, умирать. Они знали, за что они умирали? Они знали, ради чего они оставляли? Дома, жен, матерей, детей, отцов, сыновей, дочерей. Потому что мы воюем ни за что. Плаваем в каком-то синтетическом растворе непонимания, не в силах выплыть. Барахтаемся как можем. Как будто нас бросили в кувшин с киселем, и кажется, что свет пробивается через поверхность, и понятно, куда плыть. Но руки и ноги вязнут в розовой жиже, воздух вроде не заканчивается, но его все меньше, и голова отчетливо понимает, что этих запасов кислорода не хватит, чтобы выплыть. И чтобы дотянуться до ближнего может не хватить. За что вам говорят убивать? За что нам говорят умирать? У нас даже нет анестетика в виде иллюзий. Так отчетливо видеть, что умираем и убиваем мы ни за что – все равно, что смотреть, как тебе отрезают здоровую руку без наркоза, уверяя, что у тебя гангрена. Больно. И бессмысленно. И снова больно, оттого что бессмысленно

**Моя Любовь** задремала в кресле. Весь дом у вас погружен в сон, это – тот редкий час, когда все ночные жители уже улеглись, а утренние – еще не проснулись. Свет еле пробивается в ваше окно

сквозь занавески, мягко рассеивается по комнате. Ты спишь глубоко и спокойно, не ворочаешься во сне, потому что **моя Любовь** бережет твой покой, даже пока сама дремлет. Она укрывает тебя заботой, и твое лицо хранит тепло ее ладоней. Она сквозь сон приоткрывает глаза, будто о чем-то забыла – хочет взглянуть на твоего друга, но решает отложить это до пробуждения. Ему благодарна я, потому что вместе вы поддержите друг друга там, где **моя Любовь** не справится одна. Но я верю в нее, как верю в тебя. Вам теперь идти вместе

Когда мы говорили о текстах, я подумала, что белорусы – более политичны. Возможно, слишком политичны. Во всяком случае Н. видела политику в тех словах, где для меня ее не было. Да и вообще, много упоминали войну. Напрямую не обсуждали, потому как в этой теме нет дискуссионности, но косвенно эта тема всегда была с нами. Как и в жизни. Я тогда подумала, что сумела как-то вытеснить ее на периферию сознания. Безоценочно, хорошо ли, плохо ли, просто сделала так и все. И вот сейчас я испытываю слабый укол совести, будто все это – плата за временное равнодушие. Это не так, но чувство не исчезает

**Моя Любовь** чувствует себя неуютно. Просыпается, подходит к окну. Сначала ничего не замечает, но чувства живут под кожей, и в этом – залог безошибочности. Она озирается по сторонам, разглядывает дальние улицы. И замечает ее. Невысокая, костистая, угловатая. По лицу ее невозможно определить возраст, глаза с вечным прищуром, чуть роскошные, очень темные. Легкая насмешка осела в уголках рта. Черты симметричные, лицо некрасивое, но притягательное. Одно из тех, заглянув в которые сложно отвернуться или забыть. Она бывает красива в минуты своего кровожадного экстаза, когда черные зрачки горят ярче прежнего, и остаются только эти два уголька и ты перед ними на коленях, бессильный и выпитый. Война носит стильный цвет, который никогда не выходит из моды – черный. Дополняет его крикливыми аксессуарами, получается не пошло, но вульгарно. Все знают, что на плечах под накидкой – язвы, которые сама же она берedit. Ей и больно, и сладостно. Война видит **мою Любовь**, улыбается, не раскрывая рта, прислоняет руку к голове, будто приподнимая шляпу. **Моя Любовь** хмурится, но кивает. Когда ты проснешься, Война уже поймает такси и уйдет – в Алтайске она пока только проездом, присматривается к городу и местным жителям. Ее уже заждались на линии фронта, куда завтра привезут свежий запас рук, ног, голов, угасших улыбок, корчащихся гримас. Ты пока в безопасности, но жженный запах неуволимо пропитал воздух вокруг. Горящая резина, копченое мясо, вонючий гной, обильно залитый дорогими духами. Так пахнет Война. **Моя Любовь** оборачивается, когда ты потягиваешься во сне и переворачиваешься на другой бок. Завиток со лба затерялся в копне остальных волос. **Моя Любовь** подходит к дивану и по-матерински треплет тебя по волосам, словно мальчишку. Пора просыпаться и двигаться дальше, впереди тебя ждет долгий день. И, если повезет, долгая жизнь

## II.

Зухра,

с тобой мне пишется намного лучше, чем без тебя. Ты источаешь спокойствие и теплоту, носи их в свои новые миры и обволакивай новые пространства своим мягким светом. А зимой приезжай к нам на праздники! Поедем в Царицино, катание на тройке не обещаю, но вообще – можно. Вижу тебя в том белом тастаре, спадающем на пальто. У тебя волосы жесткие и черные, у них свой яркий характер, который сразу заметен – как и у тебя. Перетекающие где-то волной, они, жесткие, держат данную природой форму, и смело подчеркивают ее стальными завитками отдельных волосков. Скулы у тебя выпирают, формируя лицо. Волевое, но мягкое. Теплая линия губ отвечает за твою мягкость, жесткая линия скул – за твою твердость. А нос – с уверенной формой, но далекий от излишества в любой форме, их между собой примиряет. Глаза у тебя темные, и вкрапления радужки

почему-то местами расползаются даже на белки: темнота в твоей внешности будто стремилась отвоевать себе новые пространства, да так и застывает там, куда смогла пройти. У тебя и когда ты будешь старушкой с копной стальных волос глаза будут темного мягкого цвета, глядеть осмысленно и остро. (Деменции не бойся, тебе она не грозит. Ты будешь одной из тех бабушек, про которых с налетом зависти говорят «столько лет, а ведь в здравом уме!») И вот ты, такая молодая и сильная, черноокая, с плавными линиями черных бровей, в белизне тастара, словно создана для саней. Как Боярыня Морозова. Только взгляд не безумный. (Почему я написала с большой буквы? Наверное, добавляет персонажности)

Этот текст – мой младенец, мой первенец. Мое первое художественное высказывание. Желанное высказывание. То, что было прежде, тоже шло от сердца, но еще не было сформированным, большим, целостным. Они были выкидыши, зародыши. Желанные, но не выросшие во взрослое возвращенное тело. Этот – иной. Он – мой первенец. Долгожданный, выстраданный, выпестованный. Которого я гладила сквозь слои своей кожи, свою плаценту, свою кровь. Он плоть от плоти – я. Это ему я напевала колыбельные и баюкала, это он во снах напевал колыбельные мне и убаюкивал, обволакивал. Это на него я смотрела с опаской и любопытством, когда он только зародился, это на него я молилась с тайной радостью, когда из зародыша он перерос в большее. Это он давал мне время покоя, чтобы потом разбудить, распинать новой искренностью, новой силой, новой силой искренности. Он – мой младенец.

Он – мой младенец, мой первенец. Потому если (когда) в него полетят первые камни критики, они будут падать в меня с удвоенной силой. Каждое слово камнем будет по голове моей бить, по груди и стопам. Дробинками пробивать насквозь мое тело. Мою кожу. Мою кровь. Мои кости. Я буду своими руками его закрывать, буду скрючиваться, буду распинать себя в надежде его укрыть, убаюкать. Каждое слово сказанное – станет камнем, брошенным в чрево мое. Каждое слово написанное – будет стеклом, под ноги мои брошенным.

Но он – мой младенец, мой первенец. И я буду идти ногами голыми по осколкам, обиваемая камнями острыми и тяжелыми по сторонам. Буду руками своими прижимать его тельце голое к израненной груди, буду кистями костлявыми укрывать его головку маленькую, пока сквозь содранную кожу на них не проступят кости, и после рук не разожму, головы не опущу. Будет тело мое горделиво и стойко дальше двигаться, пока ступни кровоточащие стаптываются. Пока плоть хрупкая облетает с костей вытянутых. Пока каждая клеточка, разрушаясь, его защищает и себя спасает. Потому что он – мой младенец, мой первенец. И он плоть от плоти – я. Да спасемся мы вместе. Аминь

Но это все будет, когда ты приедешь к нам зимой. А сейчас ты сидишь у гейта в аэропорту и ждешь, когда пригласят на посадку (приглашать – очень красивое, царственное слово, и тебе оно очень подходит). Ждать тебе еще долго, потому что ты, волнительная, приезжаешь всегда сильно заранее. **Моя Любовь**, конечно, сидит тут же, с тобой, и тоже ждет. Ей не привыкать ждать, она – путешественница опытная. Сидите вы рядышком, на жестких типовых сидениях, и ты думаешь, что чуть позже придется пересесть поближе к розетке и подзарядить телефон. На тебе твои черные поношенные джинсы, трикотажная толстовка и кроссы. Пальто ты уже скинула, сложив на коленках вместе с шарфом (черным, лучше бы тебе купить другой, поярче, он подойдет черноте твоих волос и серости твоего пальто). Обводишь зал вокруг заинтересованным взглядом, готовая

наблюдать. **Моя Любовь**, когда она с тобой, становится выше ростом и чуть острее взглядом. У нее по-прежнему крупные мягкие руки и теплые черты, выпирающие щечки, но волосы уходят ближе к блонду. Пшеничный. Теплый оттенок. Аэропорты ей нравятся, залы ожидания – тоже. А еще ей нравится, что вы улетаете. Куда-то туда, где вероятность встречи с Войной ниже, где людей не преобразуют в банкноту, прогоняя через станок войны. Вы обе еще немного напряжены: ты полностью расслабишься, когда твоя нога ступит с трапа самолета на ту же землю, но уже в другом государстве. **Моя Любовь** не расслабится никогда, потому как она рождена, чтобы оберегать. Ты достаешь наушники, ищешь что-то новое, что можно послушать, и вспоминаешь про электронику, подсмотренную в каталоге на биеннале. Включаешь. **Моя Любовь** берет второй наушник, сидите рядышком и смотрите перед собой. Слушаете



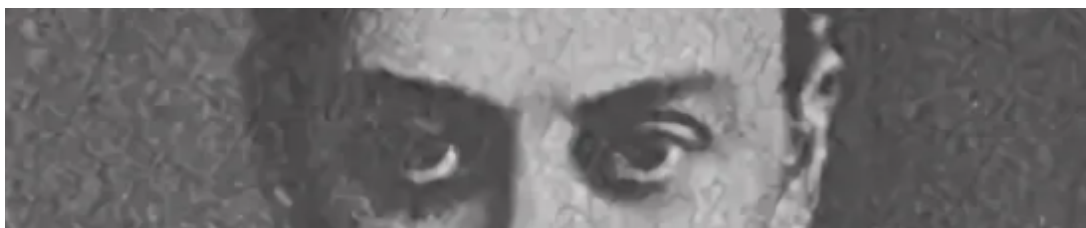
ееет, ты что — Strings (www.lightaudio.ru).mp3

Пока вы сидите в аэропорту, я трясусь в вагоне метро. Он несет меня в библиотеку. (Это – твое наследие для меня, раньше я в библиотеках не часто работала). На мне рваные джинсы, огромный бомбер и желтые казаки – мои фавориты в этом сезоне. Ты мне говорила, что я стильная. Спасибо. У меня опять быстро разряжается телефон, поэтому я стою в нише с разъемами для шнуров, облокотившись на стену. Вагон новый и по-московски модный, один тех тех, что выдержаны тематически и пестрят сочными картинками. Не хочу лишний раз утомлять глаза экраном, поэтому принимаюсь разглядывать оформление вагона. Этот – из тех, которые «патриотичные». Не впервые задаюсь вопросом, что это за формулировка такая: «герои с вечно русским сердцем». Вечно русским? У сердца точно есть гражданство? Вы уверены? Я прям чувствую, как мои прочие органы вопросительно посмотрели на сердце и оно отрицательно покачало головой. Мол, нет, паспорта с графой «гражданство» не имею, не выдавали. Все облегченно вздыхают. А то печень заперезживала, что она пропустила какое-то освидетельствование и пора бежать в паспортный стол. А почки вообще растревожились – их же еще и две. Пока мои внутренние органы приходят в себя и откладывают поход по бюрократическим инстанциям на худшие времена, читаю справку о герое. На самом деле, мое внимание привлекла фотография юноши в форме, о котором эта справка: он похож на актера, который нравится Зо. Я хочу сфоткать и отправить ей с надписью типа «Могла бы в Европу и не уезжать, у нас тут свои Гусманы имеются». Но тут я вижу, что у имени две даты – начала и конца жизни. Понимаю, что уже «не имеются», считаю – 27 лет. Читаю. Мальчик прикрыл собой гранату. Вступив в «неравный бой» с «нацистскими подразделениями». Это – свежие жертвы свежей войны. На меня с фотографии смотрит молодой человек, погибший за других молодых людей, которых могут уже завтра убить в следующем «неравном бою» с «нацистскими подразделениями». Погибший в бессмысленной войне, развязанной ради чьего-то финансового сверхблагополучия. В следующей нише – следующий боец. Меня поражает догадка, что весь этот вагон – вагон мертвецов. Что мы вот спешим на работу, тремся фирменными пальто, и наши тела проходят сквозь призраки мертвецов. Они терпеливо ездят по кругу кольцевой, держась рукой за поручень (потому что уступили кому-то место, или даже не сажались). Замершие лица, головы в форменных фуражках. Живые выходят на станциях, толкаются, читают, смеются, что-то слушают, что-то читают, о чем-то мечтают. А они ездят по кругу с замершими лицами, с немигающим взглядом, и люди проходят сквозь

них, разрывая призрачную плоть, призрачные погоны. Они не замечают. Им больше не видно. Зато мне видно. Я вижу Печаль. Она худа – это на ней последствия чужих РПП, когда не в силах заглушить боль родственники погибших стремятся закрыть дырку в груди с рваными краями кусками тортов с кремом, пирогами с вишней, кастрюлями борщей, принесенных сочувствующими друзьями, противнями закусок с поминок. Они еще не знают, что эта дырка в груди в диаметре больше любого противня, глубже любой миски, и сколько в нее не бросай – не заткнешь, так и будет кровоточить, пока пирожки, борщи, торты вылетают наружу. Что-то оседает в желудке. Он не может переварить эту еду, как мозг не может переварить утрату. Но желудок умеет проворачивать один трюк – избавляться от лишнего. Мозг за годы эволюции не научился вытворять это с таким совершенством. Желудок опорожняется, отдавая все лишнее глотке унитаза. Открываются язвы, появляются боли, исчезают волосы и ногти. И вот печать этой ноши покинутых вынуждена нести на себе Печаль. У нее нездоровый, бледный цвет лица, а глаза черные и пронзительные, глубоко утопающие в глазницах черепа, подсвеченные вечными синячками. Чаще всего рассеянный взгляд ее блуждает вокруг, ни за что не цепляясь. Однако при сцеплении взглядами происходит спайка: образ ее проходит по венам, заползает под кожу, скручивается в каждом суставе, каждой извилине мозга. Она чем-то похожа на украинок со старых черно-белых карточек, чей взгляд впивается со страниц фотоальбома, и кажется, что кроме глаз ничего в них и нет. Магнетически-притягательная, Печаль топит в омуте своих глаз

Люди вокруг вас начинают подниматься с насиженных мест. Вы оборачиваетесь: на табло у гейта загорелась надпись о начале посадки. Постепенно собирается очередь. Пока никого не пускают, только готовятся проверять документы. Вы с **моей Любовью** не спешите вставать, ждете, пока закончится композиция в наушниках. Когда в очереди остается пара десятков пассажиров, ты поднимаешься и убирает все свои вещи. Проверяешь, не оставила ли зарядку в розетке, поправляешь перекинутое через руку пальто. Подходишь к гейту, отдаешь свой посадочный, следом паспорт. Улыбаешься приветливо. Сотрудница кидает беглый взгляд на тебя и твою фотографию в паспорте, сканирует посадочный и желает хорошего полета. **Моя Любовь** тем временем зачарованно смотрит, как вдалеке взлетает самолет, и оборачивается только когда ты уже проходишь в гофру переносного трапа. Спешно следует за тобой, недовольно ворча, что ты ее не подождала и не окликнула. Но она от тебя никуда не денется, и ты это знаешь

Новослободская. Моя. Успеваю заметить, что в карточке второго парня тоже «неравный бой» и «неонацистские объединения». (Там вообще у вас бывают РАВНЫЕ бои?! Может, пора как-то получше планировать свои боевые действия?) Еще успеваю заметить, что второй даты у этого мальчика нет. Значит, не все мертвецы. Были, когда печатали этот плакат. Выхожу из вагона и оборачиваюсь. Разгоняющийся поезд уносит с собой сотни людей и отряд мертвецов. Печаль сидит в той же позе, горестно соединив кисти рук на коленях. Живые сойдут, мертвые растворятся. И только Печаль будет вечной



Как тебе повезло путешествовать с **моей Любовью!** Она – явно более приятная спутница, чем черноокая Печаль. Вы уютно разместились на своих креслах ближе к концу самолета (ты, мнительная, где-то вычитала, что при крушении самолета есть шанс, что хвост отвалится и удачно спикирует в воду, так что в душе обрадовалась, когда тебя дали этот ряд и это место). Не считая **моей Любви**, соседей в этом полете у тебя не будет, и ты вольготно скидываешь обувь, кладешь вещи на пустующее место, а не на полку, и готовишься следить за взлетом в окно. **Моя Любовь** смотрит из-за твоего плеча и, когда самолет начинает набирать высоту, прижимает упругую проволоку твоих волос ближе к голове, чтобы они не загоразивали ей обзор. Ты вроде бы не против. Меланхолично улыбаешься, думая о том, какая жизнь ждет тебя там, на морском берегу

Стало стыдно употреблять слова «патриотизм» и «родина». Всякий раз приходится уточнять, что, говоря о патриотизме, имеешь в виду любовь к родине, а говоря о родине подразумеваешь всё то прекрасное, что в ней ценишь. Мирное. Мирлюбивое. Любовное. Способное любить, а не бить. Как так получилось, что первоначальное значение слов стало теперь вторичным и неочевидным? Приходится признать, что в войне за язык мы проигрываем битвы как минимум по двум фронтам: «патриотизм» и «родина»

*Родина, родить, родня*

*Родина ж. родимая земля, чье место рожденья; в обширном знач. земля, государство, где кто родился; в тесном знач. город, деревня*

*См. также рождать*

*Рóдина – «отечество»*

*Родина – «батьківщина»*

Может быть битву за «родину» (которая от «рода», которая в связке с «родить», которая в одном ряду с «родня») мы стали проигрывать в тот момент, когда она стала синонимом «отечества», которое от «отец»?

*По наблюдениям В.В. Виноградова, слово «отечество» имело особенно «острый общественно-политический и притом революционный смысл» в поколении декабристов и Пушкина, в то время как слово «родина» в эту эпоху было нейтральным и означало просто «родные места», «город или деревня, где человек родился» и т.п.*

С «отечеством» все как будто понятно. Будучи производным от «отца», «отечество» было не обречено, но склонно клониться к насилию и склонять к нему других. «Отцы» не «рождают», не «родят», хотя формально и являются основателями «рода». Первое слово новорожденного – не «отец» и не «папа», а «мама». Потому что рождает его женщина, которая мать, которая в одном ряду с «родить» и «рождать».

Так когда эту «мать», «родину», «родные места», «город или деревню, где человек родился», одели в военную форму, погнали на плац, выдали винтовку, в одну руку вложили гранату, в другую – запас патронов? Когда ее поставили на вооружение политикам, политиканам, депутатам, канцлерам, советникам и министрам? «Минобороны России получило новую партию ~~военной техники~~ наряженных в чужой костюм слов досрочно. Среди них как прошедшие глубокую модернизацию, так и

совершенно новые ~~танки~~ слова и обороты, сошедшие с ~~конвейера~~ из словаря в 2021 году. Год неизвестен\*»

\*Прим. переводчика с манипулятивно-политического на русский

В нацистскую эпоху слово *Vaterland* 'отечество, земля предков' (в отличие от *Heimat* 'родина') широко использовалось в немецкой пропаганде, а затем и в контрпропаганде союзников, в связи с чем соответствующее английское слово *fatherland* получило нацистские коннотации, и в нейтральных контекстах после войны предпочитается слово *homeland*.

Получается, мы в России как обычно пошли дальше прочих в вопросах сомнительных рекордов. «У нас» традиционно любят всё «самое». Самое высокое, самое большое, самое глубокое, самое дорогое, на самое большое количество посетителей, с самым большим количеством сотрудников, привлеченных к проекту, с самыми громкими именами разработчиков (прим.: нередко – зарубежным), с самым высокотехнологичным материалом, свойства которого непонятно кто измерял. Самое гротескное, самое гнилое, самое прозябающее, самое нищенствующее, самое бедное, самое убогое, самое бутафорское, самое лживое, самое истерзанное, исковерканное, изломанное. И вот теперь на горизонте маячит новое достижение: «самое большое количество исковерканных слов».

Вернемся к отечеству, которое (в отличие от *Heimat* 'родина') широко использовалось в немецкой пропаганде. Немцы заслуживают уважения своим упорством: они не отреклись от «земли отцов» и продолжают использовать ее в своем гимне. А мы пошли еще дальше, прибрав к рукам и традиционно-нейтральную родину-мать. Нам не оставили политически-нейтрального слова, чтобы описать чувство родства с землей, которую мы выбрали своей матерью или которую имеем своей матерью по случаю рождения.

РОДИНА, родины, жен.

«1. Отечество; страна, в которой человек родился и гражданином которой он состоит. «Мы любим свой язык и свою родину...» Ленин. Защищать родину. Весь Советский народ любит свою социалистическую родину и защищает ее грудью от всех посягательств. Советский союз – вторая родина всех трудящихся и угнетенных всего мира

2. перен. Место возникновения чего-нибудь. Советский Союз – родина социалистической революции»

Кажется, битву за сдачу «родины» проиграли еще поколения до меня. Думаю, как раз в тот момент, когда Родина стала ходить под руку с прилагательным «социалистический» и всё чаще употреблялась в паре с глаголом «защищать». Даже когда на нее никто не нападает

Я сейчас думаю, не бросаю ли лишнюю лопату земли на могилу «родины», когда отказываюсь от нее в речи. Когда соглашаюсь использовать ее только с оговорками. Когда не могу не стыдиться ее в словесной форме, хотя не стыжусь и трепетно люблю как явление, истинно в «родине» заложенное. И не упускаем ли мы сейчас битвы на каких-то еще фронтах, когда смотрим на пепелище битвы за «родину» и «патриотизм»?

Синонимы:

колыбель,

край отцов,

материнский живот,

отечество, отчизна, отчий край,

прародина, родина-мать, родная земля,

родная сторона, родная сторонка, родная страна,

родные места, родные осины, родные палестины, фатерланд



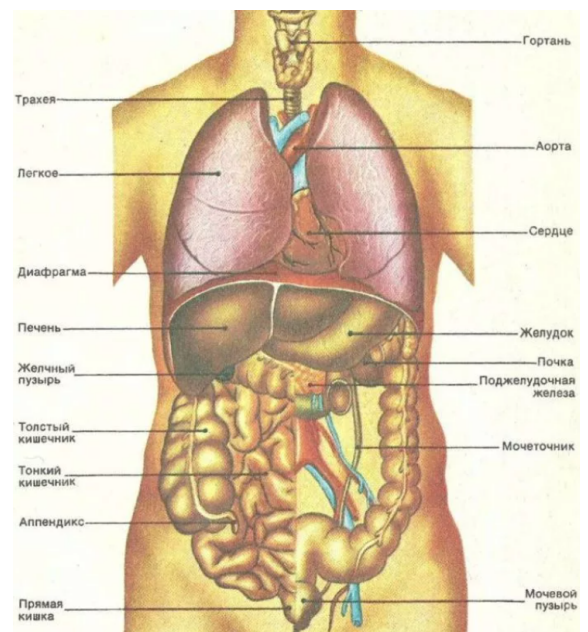
Что-то я заболталась, время вернуться к тебе, путешествующей. Пока я тут изучала словообразование, ты, моя дорогая, уже выходишь из самолета. Твои ноги в кроссовках шуршат длинными джинсами по металлу трапа, ты предусмотрительно разделась, и теперь толстовка у тебя накинута на плечи и на голых руках видны татуировки. Красное сердце на правой готовится пульсировать на новой земле. Ты смотришь вокруг взглядом исследовательницы-первооткрывательницы. **Моя Любовь** пропускает тебя вперед, ей спокойно и радостно. Ты достигла берега, и она знает, что шаги первопроходца – твои, и оставляет тебе простор первых детских открытий. Волосы твои, прижатые на макушке очками, развеваются от освежающего черногорского ветра, и **моей Любви** приятно просто смотреть на тебя, спускающуюся вниз по трапу к автобусу, водитель которого раскатисто переговаривается с другим громогласным балканцем. Ты занимаешь место у окна, и радуешься мысли, что пальто тебе в этих краях вряд ли понадобится. Солнце беззаботно бьет в окно, ослепляя. **Моя Любовь** надвигает на глаза черные солнцезащитные очки, поднимает бровь, конструируя сучье выражение лица. Тебе становится смешно, и она тоже заливисто хохочет

Я словно сжатая пружина. Во мне киловольты напряжения, мегаватты настороженности и натянутости. Со мной снова это жгучее ощущение. Оно жжется, жужжит глубоко внутри. Зарождается где-то в черепной коробке, но, не имея возможности быть выраженным языком и пережеванным мозгом, оно сползает, стекает вязким черным мазутом, серебристым расплавленным металлом вниз по горлу, прожигая изнутри. Но глотка моя – не расплавима, она – гранитная, она – бриллиантовая; выдержит любую температуру, не расплавившись. Сглатываю. Вязкий мазут, серебристый металл, жгучую жижу. И оно течет дальше, опускается ниже, проползает в мои внутренности. Это ощущение – внутри живота, там, внизу, хочется этот сгусток – а с ним напряжение – выплюнуть, выbleвать, выхаркать, выбросить. Раз и навсегда. Но оно уже ниже, в кишках, разлагается там, заполняет собой меня. Ему меня не прожечь – не только глотка моя гранитная, не только горло моё бриллиантовое, сама я вся такая. Я – закаленная. Рожденная, чтобы выжить, что бы ни продолжало жечь. Снаружи или изнутри. Я несу это напряжение в себе, оно заперто в клетке моего тела, оно пожирает меня изнутри, и оно же разжигает во мне ярость.

Напряжение живет в животе, а ярость живет в других местах. Когда напряжение растекается по моему телу – гранитному, стойкому, бриллиантовому – оно остывает под натиском этой природной брони, и, доходя до рук, доходя до ног, сплавляется с телом моим. Потому ярость – то, что живет в натянутых мускулах, то, что сидит в спазмированных мышцах, то, что копится в острых локтях и коленях. Лопатки, хребет, ребра расправляются, чтобы впустить воздух, и тем самым будоражат жижу мазута и расплавленного серебра. Эти спазмы выталкивают новые тягучие массы дальше, до кончиков пальцев, и те начинают подергиваться от невозможности избавления от ярости. Потому что эта ярость особенная. Это – ярость бессилия.

Бессилие живет в сердце. Оно – маленькое и острое. Оно – как пуля – цветок, которая, попадая в мягкие ткани, только там раскрывается, и урон от нее неизмерим, а тело ее кишках? Переварить. ПЕРЕварить. Как это переварить раньше, чем оно изнутри сварит меня, мои легкие, желудок, сердце? Разве хватит моей стальной гортани, моего гранитного сердца, моих алмазных сосудов для этого? Я вижу своим внутренним зрением, как на пальцах моих удлиняются ногти. Как они заостряются, закручиваются, как они превращаются в когти. Как они впиваются в живот, как они разрывают кожу, как под их натиском лопаются внутренности, как корчатся ткани. Я опускаю глаза, и вижу,

как эти руки копошатся с остервенением в кишках, как они стараются нашарить это напряжение, как они стремятся вырвать его из меня. Но жидкость поймать нельзя, и вот вместе с трубками пищевода, валяющимися из меня на пол, тянется липкая жижа, черный мазут напряжения. Когтистые руки шарят по животу, и жидкость насмешливо бежит сквозь пальцы, тщетно пытающиеся отделить родное от неродного. Органическое от искусственного. Мое от мне приписанного. Не удастся. Напряжение живо. Оно, кажется, превращается во что-то живое, пульсирует и мерцает на полу, на руках, во мне. Оно подсвечивает то, что находится везде во мне. Оно подсвечивает дробинку бессилия. Но к сердцу не пролезть так просто, как к кишкам и селезенке, его закрывает каркас ребер, его закрывают кости всевозможных размеров и форм. Дробинка бессилия пульсирует нестерпимо. Обрушиваюсь на пол, кровоточащая и истерзанная, встаю на четвереньки. Когтистой рукой прокладываю путь через дырку в животе выше, к сердцу. Мешаются легкие, мешается тело, которое противится разрушению. Я – словно раненый зверь, бессильный в боли своей обратиться за помощью и выразить свою боль. Речь моя – рык и вой, полуплач- полужавывание. Я выгрызаю собственное сердце, я раздираю собственное брюхо, я царапаю собственную кожу до тех пор, пока не вспоминаю, что еще я – человек. Я – человек, поэтому я собираю пазл своего тело воедино. Я вставляю на место сначала сердце, потому что и с дробинкой-цветком оно способно отбивать свои рваные ритмы. Начало положено, поэтому я иду в ванную. Достая большой таз, куда складываю свои внутренности, протягиваю руку за лейкой душа, включаю воду, проверяю температуру и напор. Наполняю таз водой, глядя, как внутренности затягивает в водоворот. Когда вода касается краев таза, выключаю. Отмываю тщательно содержимое – с щеткой и мылом, и смотрю, как в сливное отверстие убегает черный мазут и стальной блеск алюминия. Я достаю телефон и ввожу запрос «внутренние органы человека – картинки». Нахожу подходящую и начинаю постепенно укладывать в провал живота всё, что успела вырвать когтистыми руками: печень, желудок, селезенку, поджелудочную, почку, желчный пузырь. Складываю кольцами кишки.



Закрываю стенку живота. С покалыванием кожа прирастает краями стенок друг к другу, прорезь затягивается. Остается вопрос с осоловевшим мозгом, но обычно он справляется сам. Беру кусачки и избавляюсь от когтей. Они такие острым и плотные, что от укуса ножниц отлетают в сторону и с глухим звуком ударяются о стенку ванной. Когда с когтями покончено, и они – снова ногти, тонкие и беззащитные, мою таз и ванную. Тщательно. С губкой. В латексных перчатках: ковыряться в мясе можно и голыми руками, а вот средство их разъедает. Когда с этим покончено, выношу пакет с ошметками вязкой жижи, жившей внутри меня, в мусоропровод. Там металл, мазут и слизь потонут в тоннах обрезков бумаги, шкурок от овощей, пластиковых пакетов, которые поленились отнести в пункты сортировки. Они станут неотличимо от прочего мусора. Никто не различит в зловонных толщах ни напряжения, ни ярости. Уставшая и измученная,

сажусь у окна за кухонный стол. Руки – уже не когтистые – смиренно лежат на коленях. Вздыхаю. Чувствую, как напряжение всё еще пульсирует где-то внутри, хоть и не так ярко. А вот дробинка бессилия плотно сидит на прежнем месте, и если и колет чуть меньше прежнего, то только от моей усталости. Пока идет война, себя до конца не выстирать и не – вросшее в мое тело. Оно сидит в самой сердцевине сердца, при каждом сокращении, при каждом переходе крови из желудочка в желудочек, из предсердия в предсердие это чужое тело дает о себе знать. Мозг, уставший и измаянный, начинает метаться. Тяжко ему уследить и за яростью в кончиках пальцев, и за растекающимся мазутом тревожности, и за то и дело колющей в груди дробинкой бессилия. Он в ужасе пытается разжать большую твердую пружину, которая прежде называлась телом, он пытается отгородиться. Я пытаюсь отгородиться. Я пытаюсь придумать, как мне это переварить. Как это вначале положить собственными руками – напряженными от ярости – на язык, омертвевший от невозможности выражения напряжения. Как потом заставить губы и рот сомкнуться, чтобы собственными зубами прожевать это событие-известие-новость-происшествие-состояние. Как заставить свой рот не раскрыться, свой желудок не сокращаться в рвотных позывах, когда дорожки слез будут прожигать язвы на щеках, потому что и слезы теперь – расплавленный алюминий. Как заставить язык, данный, чтобы пробовать, целовать и говорить, протолкнуть этот комок событий дальше в гортань, уже закаленную кипящей смолой и вязким мазутом. Как уместить это потом в камере желудка, успокоить в вытрясти

### III.

Пока **моя Любовь** хранит тебя по ту сторону границ (вижу, как вы с ней заходите в продуктовую лавку, окружённые сухим знойным воздухом Узбекистана), я стараюсь жить свою обычную жизнь. Сегодня еду в Переделкино. Помнишь, мы с тобой обсуждали, как продолжим осматривать Подмоскovie в этом сезоне? Мне было так тепло и радостно, когда мы стали путешествовать вместе. Помню, когда тебе было 17, ты уже начал свои разъезды и "путевые заметки". Я канючила матери и хныкала, когда она запрещала мне ездить с тобой, потому что я была ещё маленькая. Ты привозил мне свои артефакты из поездок: лист, кусочек коры, иногда платок, найденный где-то в горах на Архызе. Я была им очень рада и фантазировала, представляя, как ты там карабкаешься по кручам, как голосуешь проезжающим машинам, путешествуя автостопом. Представляла диковинные наречия жителей сел, которые ты проходил. Видела, как они предлагали тебе кров и поили парным молоком. (Помнишь, из Киргизии ты привез кругляшки ржанных лепешек? Мы ели их с молоком. Не домашним, а из магазина, но, закрывая глаза, я представляла, что мама наливала его не из фольгированного пакета с яркими надписями, а из глиняной кринки красивой формы.) Ты никогда меня не исключал из игр своих рассказов, но и не брал меня с собой. Однажды я, правда, чуть не сорвала твой отъезд отменным концертом-истерикой, представленным соло и с большим размахом

Пока я это вспоминаю, вы с **моей Любовью** осматриваете полки супермаркета. Ты размышляешь, сколько воды взять с собой дальше, и встретится ли добротная еда в селах, куда ты не бежишь, но направляешься. **Моя Любовь** терпеливая, как швейцар, но без доли подобострастия, ходит за тобой между стеллажей и полок. Удивленно изгибает одну бровь, когда ты протягиваешь руку к киндер-сюрпризу и тихонько чему-то улыбаешься. Вспоминаешь, как привез мне медведя в шапке из очередного

путешествия, а я была так обижена, что ты не взял меня в очередной раз с собой, что назвала его уродливым. «Он мне совсем не нравится,» – заявила я решительно. И постаралась добить финальным «Лучше бы привез что-то другое». Я тогда уже входила в подростковый период, и гормональные игры организма давали о себе знать эмоциональными скачками. Впрочем, я довольно быстро устыдилась своего выпада – больше из раскаяния к медведю, чем к тебе, и не расставалась с ним добрых пару месяцев. (Кстати, знаешь, он и теперь хранится где-то в коробах с игрушками. Делаю заметку достать, когда вернусь домой). Мысленно передаю эту историю-объяснение **моей Любви**, и она добродушно улыбается твоему механическому желанию привезти мне что-нибудь в насмешку: эти нарочито-детские подарки стали нашим с тобой фирменным жестом. Эта привычка-атавизм осталась у тебя от прошлых путешествий, и к новым обстоятельствам она не подходит. Шум уроненной неподалеку банки с горошком выдергивает тебя из воспоминаний, и ты спешно закидываешь в корзину пару консервов с колечком для открывания (такие удобнее) и продвигаешься в отдел с хоз товарами (терпеть не могу сокращения, ну что за пережиток аббревиатурного периода Союза?) Любовь следует за тобой, попутно любопытствуя ассортиментом местной выпечки

Электричка в Переделкино отправляется с Курского вокзала, и когда я выхожу из метро, чтобы пройти к пригородным кассам, на улице меня встречает группа мальчиков в форме. Они выстроились в осенней стуже, растянувшись длинной колонной вдоль здания вокзала, и позади них возвышается блестящее здание Атриума. Меня всегда пугали и немного смешили эти мальчишки в форме: с выбритыми макушками, худенькие, они особенно нелепы всегда в этой жесткой форме, и выглядят как цыплята. Тоненькие шейки прячутся в вороте, от ветра спасает только форменная фуражка, которая гипертрофирует худосочность шей и голов. В отсутствии волос и привычных одежд им не за чем спрятаться, и глаза смотрят пронзительно и остро, по-детски искренне и беспомощно, потому как когда шагаешь в неизвестность всегда жаждешь помощи. Я иду вдоль их колонны, жадно вглядываясь в лица, впитывая черты. Почему-то при виде молодых солдат во мне просыпается что-то материнское: хочется укрыть, уберечь, убавкать. Ощущение жути пронизывает насквозь, и когда я прохожу через рамку металлоискателя на вокзале, их образы еще живут во мне. Я еще не знаю, что еще десятки таких лиц и бритых голов сейчас встретят меня в зале ожидания: их человек тридцать, не меньше, и они уже сидят в ожидании отправления. Расслабленные, объединенные общим путешествием и общей неизвестностью. Автомат самообслуживания быстро сжирает мою карточку, чтобы выплюнуть ее через минуту уже заряженной на путешествие. Я механически нажимаю на кнопки и уже знаю, что эти мальчишки останутся во мне навсегда

Ты кажешься чужеродным среди кричащего многообразия цвета прилавков и этикеток. Ростом чуть выше среднего, ты по-мальчишески худощав, как и во времена своего двадцатилетия. Помню, как-то раз, когда мне было лет 6-7 (точно помню, что не старше, потому что тогда отец был еще жив), мы пошли с вами гулять на ВДНХ всей семьей. Сидели на траве где-то за павильоном Украины (тогда еще его не отреставрировали, и плиточки жалостливо цеплялись за облицовку, но пшеничные венцы на золотых статуях сияли по-прежнему ярко в лучах летнего солнца). И вот

мимо в игре пронеслись две собаки: одна из них была похожа на овчарку, но скорее помесь, а вот вторая оказалась молодой сукой стаффорда. Еще не заматеревшее тело ее хранило юную гибкость, но обусловленный природой каркас мышц проглядывал под блестящей на солнце рыжими переливами шерстью. Когда она делала очередной прыжок, выкидывая передние лапы, всё ее тело вытягивалось, кожа обтягивала ребра и мышцы, особенно заметны были сильные крупные мышцы задних лап, уже развитые соответствующе породе. Она была так прекрасна, что у меня перехватило дыхание. «Какая поджарая собака,» – проговорила мать, и в меня вгрызлось это слово. «Поджарый». Когда через пару лет мышцы догнали твои растущие кости, я назвала поджарым и тебя. Мама поправила, сказав, что так называют только животных. Позже я слышала много определений, сейчас таких как ты называют сухими, реже – тонкими. Но в моем сознании лучшего слова, чем поджарый, не подобрать для вас – нас. Так о чем это я? Да, что ты, ростом чуть выше среднего, поджарый (моя Любовь не против, что я сохранию это слово), одет по-походному практично, в темное. Вещи на тебе не новые, но видно, что за ними следят: аккуратно подшитые леггинсы (чтобы было удобно сидеть), синтетические шорты (чтобы быстрее сохли), под толстовкой рубашка с высоким воротом (чтобы не обгореть). Коротко стриженная голова покрыта неярким платком. Ты – темная, компактная, собранная точка среди стеллажей супермаркета. Как горошинка черного перца среди кричащего многообразия узбекских пряностей. Вечная классика

Моя Любовь глядит на тебя и радуется, что ты оказался готов к такого рода путешествиям. Больше других готов, пожалуй. У тебя в рюкзаке аккуратно собрано все самое необходимое, кажется, что ты умеешь предусмотреть абсолютно всё. Помню, как перебирала предметы в твоей косметичке: веревка – 5 метров, эластичный бинт – 2 штуки, прищепки бельевые – 4 штуки, складной нож-отвертка – 1 штука, скребок для посуды – 1 штука, даже клей! Всё это ты бережно собирал в течение своей походной жизни. По крупинкам. Я точно знаю, что в рюкзаке на твоих плечах всё идеально сложено. Что у тебя нет с собой ничего лишнего, и вместе с тем нет ничего такого, что бы ты забыл. Мы с мамой шутили, что тебе пора заводить канал по оптимизации пространства в сумке. Сейчас же модно всё монетизировать – даже такие навыки, как упаковка чемодана. Ты улыбался своей улыбкой тонких губ, не обнажая зубов – твоя обычная, неширокая, неголливудская улыбка...

Пока я погружаюсь в воспоминания, а вы с моей Любовью ходите по супермаркету, механический голос объявляет Переделкино, и электричка подползает к платформе. (Теперь сюда курсируют вагоны комфорт-плюс. Знаешь, я сейчас подумала, что уже давно не ездила в старых промерзших вагонах с жесткими креслами в коричневой обивке из нашего детства. Все теперь вылизанное и недокомфортное. Что-то на стыке европейского производства и российских реалий. От европейского производства – яркая синева мягких обивок на сиденьях; от российских реалий – дурно пахнущий туалет без бумаги и мыла. Хотя стоит признать, что раньше туалетов вообще не было: писали в тамбуре...)

Пока я трясусь в околокомфортабельном вагоне, ты стоишь в очереди к кассе. Отказываешься от пакета. Достоешь наличные и протягиваешь несколько купюр

кассирше (до касс самообслуживания тут еще не добрались). **Моя Любовь** из-за плеча с интересом рассматривает цветные бумажки: ты так спешно менял доллары на них в банкомате, что она не успела разглядеть их раньше. К тому же волновалась за тебя сильно. Теперь вы не так спешите: автобус твой отходит только через полчаса, а идти до него буквально пять минут. На одной из бумажек красуется в полете тройка журавлей (**моя Любовь** отмечает, что это как тройка на российских карточках для проезда, только птицы) и решает, что это – ее любимая картинка на узбекских купюрах. Не из-за родства чисел, а из любви к живому. Расчет окончен, ты сгребашь сдачу в монетах – они глухо звенят в кулаке, убираешь в нагрудный карман (кошельки – лишний вес) и выходишь. Автоматические двери разъезжаются, ты шагаешь в восточный зной Ташкента, и вас с **моей Любовью** обдает теплым дыханием города.

Двери разъезжаются в разные стороны, разрывая надпись «не прислоняться» пополам. Шагаю в прохладный загородный воздух осени, встречаемая яркой желтизной листьев. Этой осени ты не видишь, и я очень хочу рассказать тебе, что в этом году она обделена красными красками: багровеют только плети дикого винограда, остальные деревья захвачены разными оттенками желтого. От платформы продолжают прокладывать дорожку прямо до Городка Писателей. Работников много, но не сказать, чтобы они сильно торопились. Сколько смотрю на них, всегда удивляюсь: такое большое количество копошащихся людей производит настолько малую эффективность работ. Почему-то они очень часто стоят и отдыхают или переговариваются. Кажется, все время друг другу советуют, как выполнять ту или иную задачу: один месит цементную смесь в большом тазу, а остальные на него смотрят. Или впятером один провод разворачивают. Стараюсь не задерживать на них взгляд: они сразу же его перехватывают еще с тех пор, как я была девочкой. Разглядывают меня с интересом, что для меня тоже загадка: кажется, что для брака с точки зрения традиционных восточных культур я уже старовата. Минуя ремонтников, прохожу мост, где мы с Настей пили чай в прошлый приезд в Переделкино. Она теперь тоже по ту сторону границ, уехала еще раньше тебя в отпуск, превратившийся потом из двухнедельного в постоянный, и название из отпуска сменил на «жизнь». Поднимаю голову к небу – оно сегодня очень чистое и синее, жаль, что ты не видишь – клёны тут чем-то болеют. На больших желтых листьях распластались черные пятна, будто кто-то тушил о них сигареты. Контуры шрамов на листьях аккуратные и ровные. Под ногами у меня шуршат такие же листья, и я замечаю, что это не пятна даже, а наросты. Лес болеет. Звучит тоскливо, и хочется ему посочувствовать. Поднимается ветер, пару раз завывает и стихает. Будто больной закашлялся, вздохнул и затих

**Моей Любви** некогда сейчас думать о деньгах: она на всякий случай озирается по сторонам: тревога от встречи с Войной не прошла окончательно, и где-то глубоко в уме она хранит напоминание выискивать угловатую фигуру за каждым поворотом. Войны не видно, и **моя Любовь** расслабляется. Улыбается своей добродушной улыбкой, на круглых щеках проступают ямочки. С нежностью наблюдает за играющими в уличной пыли детьми. (Она, в отличие от меня, понимает трепетное очарование детства и не именуется малышей личинками). Размышлять о деньгах **моей Любви** некогда, а вот я как

раз могу об этом подумать, пока бреду в сторону городка (к счастью, не в бреду, а в здравом уме и трезвой памяти).

И вот я иду и думаю про деньги. Наверняка то, что изображено на купюрах, в какой-то мере отражает национальный характер. Вопрос только, на каком этапе. То есть в какой-то момент кто-то выбрал печатать на российский рублях карточки городов в формате здание + памятник деятелю. Кто это выбрал? Почему выбрали именно этого деятеля и этот памятник? Вот у нас на двухсотрублевых купюрах появился Херсонес. Хотели ли мы увековечивать его? Нет. Тогда правильно ли думать, что поколения до нас хотели увековечить Петропавловскую крепость (между прочим, место заключения узников), Большой театр (от которого веет духом элитаризма), Соловецкий монастырь (о котором говорят, что находится в нем тягостно, потому что невозможно выкинуть из головы сотни тысяч костей и косточек, погребенных под ногами)? К Херсонесу вопросов нет, но какое политическое и историческое событие стоит за этим выбором, мы все понимаем. Есть ли какая-то подоплека под Владивостоком с его мостом, Хабаровском с Амуром, Красноярском на десятирублевых бумажках и Ярославским Кремлем? Снова приходится призывать к помощи Гугла—Яндекса (простите автору уступку вражеским сервисам). «В 2004 г произошла очередная незначительная модификация купюр, и теперь на них можно увидеть только те города, которые не были захвачены фашистами во время ВОВ» Очень напоминает известные в психологии компенсации детских травм. Посмотрим, что там у других. Читаю, что на Евро изображены мосты (как символ объединения) и окна (как символ открытости). Думаю, комментировать тут особо нечего: ребята знают свою идеологию и не стесняются с ней работать. На мой вкус, изящно



Америка с ее политоцентризмом предсказуемо вводит в оборот свой главный капитал – политических лидеров



Как будто по изображению на купюре тоже можно конструировать культурно-ценностный образ страны. Среди многих вариантов выбираю своим фаворитом Новую Зеландию: их капитал – это природа и люди.

**Моя Любовь** чувствует, о чем я толкую в своей голове, и просит показать вам ту самую купюру с журавлями. Не вижу причин для отказа: это по любви



Тем временем ты уже стоишь на автовокзале Ташкента в сонном зное полуденного солнца. Пьешь воду, наблюдаешь за местными жителями. Ты всегда любил наблюдать за людьми, и я до сих пор не понимаю, почему ты так и не начал их фотографировать: с твоим количеством поездок по удаленным регионам ты мог бы собрать хорошую этнографическую коллекцию карточек. (Если коллекционерство – мертвое, то назовем это собранием) Ты никогда не отвечал прямо, иногда пространно рассуждал, что хочешь сохранить фиксацию событий и мест ненамеренной и не загонять в рамку, в систему. Может, доля правды в этом и есть, но я подозреваю вмешательство налета лени и неуверенности – это у нас с тобой тоже общее. Упрекаю себя, что не укрепила твою веру в эту затею раньше, но сейчас уже поздно упрекать. Вскоре ты видишь, что с общей стоянки трогается очередной автобус и подползает к платформе, на которой стоишь ты. Номер 64 готов везти тебя в глубь страны, дальше, в самое сердце Узбекистана. Тебя и десятки других людей. Из общего у вас не только маршрут, но и обстоятельства. Ты аккуратно убираешь свой рюкзак в нижний отсек, стараешься разместить его чуть в стороне и близко к стенке, чтобы наваленные сверху баулы не погребли твой скромный груз под остатками чужих материальных ценностей. Поднимаешься по лестнице, кивая водителю, садишься к окну на пятом ряду – не начало, не конец, серединка. **Моя Любовь** знает, что для нее отдельного места не подготовлено, и остается стоять у водительского сидения, ожидая, пока заполнится автобус. Вскоре рядом с тобой садится молодой мужчина. Ему лет 35, коренастый и обстоятельный, он не похож на тебя. Глаза под стеклышками очков смотрят настороженно, но приветливо, еще не затравленно. Вы не общаетесь. Вскоре за последним пассажиром закрывается дверь, шипящим звуком автобус возвещает о своей готовности к отправлению. Из окна ты видишь, как опускается створка

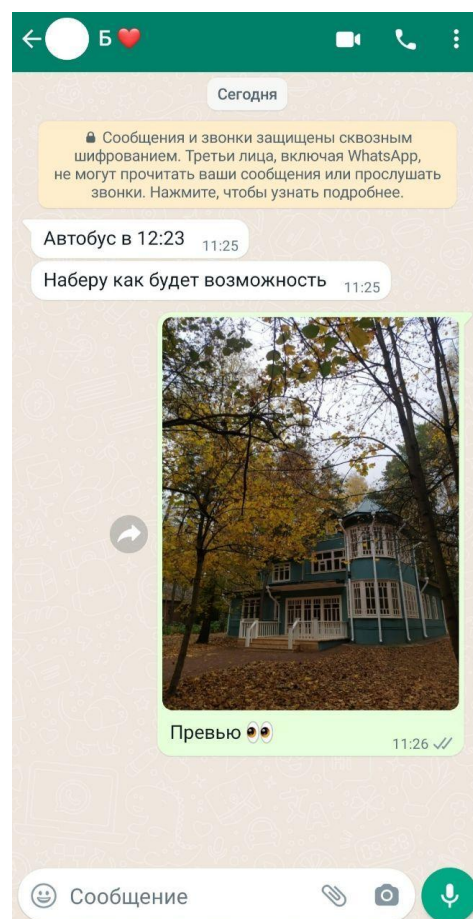


багажного отделения слева от тебя. Автобус трогается, и **моя Любовь** пробирается к свободному сиденью наискосок от тебя, на шестом ряду. Пока она идет, рассматривает лица вокруг – преимущественно мужские. Через полчаса начнутся неспешные разговоры, и ты поймешь, что примерно две трети присутствующих – айтишники. Их род деятельности позволил решиться на это путешествие, и отправиться на поиски нового места в дальние дали. Подумать только, как важно человеку иметь возможность трудиться! И зарабатывать на жизнь. (Вы когда-нибудь слышали выражение «зарабатывать на выживание»? Я – нет. Зарабатывать надо на жизнь, а если ее нет, то надо ехать туда, где заработок снова имеет смысл). Но это будет только через полчаса, а пока **моя Любовь** рассматривает лица. На выезде с автовокзала автобус кренится на повороте, когда водитель выворачивает руль. **Моя Любовь** сокрушенно качает головой – она чуть не упала – и спешит прекратить смотрины, чтобы спокойно разместиться на своем местечке. Ароматизатор-елочка покачивается справа от водителя, ниже сидит небольшая мягкая игрушка и иконка со Святым Николаем – он православный. Путь продолжается

Я тем временем захожу на территорию Дома Писателей. У нас еще 12 часов дня, светло и приятно. Октябрь – последний яркий акцент перед унылым замиранием ноября, когда желтизна листьев останется только под ногами, а деревья будут стоять ломкие и оголенные, как узники концентрационных лагерей. Когда я смотрю на них в ноябре, так и вижу группки тоненьких, съезжившихся людей, которые жмутся друг к другу в неестественных позах или вытягивают ручки-веточки в холод осеннего неба. А сейчас тут – пышный праздник. Очень фотографично смотрится свежескрашенный бирюзовый особняк справа от входа, у него белая деревянная веранда, застекленная мансарда и умеренно-торжественный вид. Достаяю телефон, чтобы сфотографировать – цвета и на фото выглядят гармонично, и теперь я выбираю ракурс для удачной композиции. Потом отправлю тебе. Перед домом бегают девочка в тонком плащике и белых колготках, рядом женщина с фотоаппаратом – видимо, мама, а отец стоит поодаль, груженный сумками. Безропотный и спокойный. Иногда девочка заходится жутким бронхиальным кашлем, но процесс съемки захватывает ее достаточно сильно, чтобы она этого не замечала. Мать подходит и надевает ей на голову красную беретку, отправляет в перилам, выстраивает кадр. Наблюдать за ними мне надоело, но приходится – сейчас семья попадает в выстроенный мной кадр, где дом оказывается закольцованным в рамку желтых крон.

Вскоре отчаиваюсь дождаться их ухода и прохожу дальше, рассматриваю пруд, перед которым два деревянных стула, похожих на укороченные шезлонги. Пустынное пространство вокруг и эти два направленных друг на друга стула на фоне пруда, поверхность которого засыпана осенними листьями, кажется мне олицетворением отсутствия. Задумчиво смотрю на воду, потом иду дальше. Инсталляция в память о столетних деревьях, съеденных короедом, кажется органичной. (Вообще-то, написано, что съедены они жуком-типографом, но за фасадом изящного названия кроется как раз короед). Пока я знакомлюсь с жуками и призраками деревьев, семья перемещается к следующей локации, и я могу спокойно сделать фотографию. Решаю отправить тебе это фото сразу. Прозрачные галочки. Доставлено, но не прочитано

Удивительно, что доставлено, потому что в тех краях, где ты сейчас находишься, связь нестабильна. У вас санитарная остановка на 15 минут, и ты заходишь в небольшой магазин напротив автозаправки. Скорее из любопытства, чем по необходимости. Разителен контраст между крупными городскими супермаркетами и этими простенькими лавочками в глубине страны: прямоугольное помещение, где по периметру прибиты полки, да еще посередине возвышается длинная протяжка с полками по две стороны. В продаже в основном закуски, бакалея, сладости – то, что меньше портится и легко довести. Когда вы с **моей Любовью** заходите, то выстраивается очень кинематографичный кадр: ты, темный силуэт на фоне белых стеллажей, справа сгорбленная фигура торговца, а за пределами стен завывает ветер и кружат песчинки в воздушных потоках. **Моя Любовь** выглядывает у тебя из-за спины, с интересом осматривает магазинчик. Она никогда прежде не была в Узбекистане и если бы не ты, то и не попала бы сюда. Путешествовать ей интересно. Эта лавочка напоминает тебе десятки подобных ей в Дагестане, они там разбросаны вдоль трасс и сел, и ты заходил туда, когда во время праздника все крупные магазины были закрыты. Год назад. Очень недавно. Ты видишь связку бананов, нюхаешь и одобрительно киваешь. (Сколько ни пытался мне объяснить, как выбирать фрукты, всё тщетно: я в этом так и не преуспела). Пока ты оплачиваешь покупку, **моя Любовь** наклонилась у дальней стены, чтобы погладить кошку. Животные чувствуют тепло ее мягких рук; розовый нос ласково тыкается в ладонь, и, прижимаясь серым боком, кошка начинает довольно мурчать. **Мою Любовь** отвлекает звон перебора стальных палочек – кажется, это называется «музыкой ветра» или как-то так. Она оборачивается, не выпрямляясь, и видит, как в магазин заходит Смерть. Она по-модельному высокая и стройная, очень значительная. Вопреки расхожим представлениям живых совсем не похожа на скелет: на ее костях упругая плоть, мышцы подтянутые и сильные, Смерть спортсменка. Прямые черные волосы аккуратно заправлены за уши, в мочках ушей поблескивают бриллиантовые гвоздики – Смерть любит сдержанные дорогие украшения. Может себе позволить. На ней органично смотрятся любые камни и самоцветы, потому как пока был ход времени, были и те, и другие. Смерть красива. Она немного старомодна. Иногда в ней просыпается детское ребячество, и она заглядывает в модные журналы в поисках дорогих сумок Луи Виттон или кричащих джинсов с низкой посадкой, доставшихся и ей, и нам из нулевых. В остальном она придерживается стиля «неизменной классики», выбирает черный – самый модный цвет (в этом они с Войной согласны), элегантные перчатки и утонченные блузы. Вот и теперь она в плотном длинном платье, очерчивающем ее силуэт, уверенную геометрию плечей, плавную линию



бедер. От ветра она спасается широким палантином, замотанным вокруг головы, и в магазине она его приспускает. Ты Смерть не видишь и не знаешь, что мешаешь ей пройти в магазин. Ей приходится тебя обойти, и происходит заминка, поэтому она не сразу замечает **мою Любовь**. **Моя Любовь** перестает гладить кошку и распрямляется, выразительно глядя на Смерть, но та лишь кивает в знак и приветствия и отрицательно качает головой, указывая на тебя: еще не время. Смерть и **моя Любовь** не враги, просто **моя Любовь** удивлена встрече (твое время еще не пришло). Они обнимаются в приятельском приветствии: не подруги, но уже сталкивались прежде. Их связывает взаимность уважения. Мысленно обмениваются парой реплик, посылая друг другу карты маршрутов. Смерть всем своим видом сетует, что тут у нее прибавилось работы, и **моя Любовь** сочувственно ей кивает. Но твоя

покупка уже оплачена, и связка бананов желтеет мышкой, когда ты открываешь дверь и выходишь. **Моя Любовь** спешно прощается со Смертью и следует за тобой



У меня с собой термос с кофе и пара бутербродов. Прислушиваюсь к своему желудку, размышляя, стоит ли перекусить. Решаю сначала подняться на верхний уровень здания с библиотекой. Туда ведет белая винтовая лестница, мы с тобой ее часто видели в инсте, помнишь? Поднимаюсь. На березе напротив висит композиция с разбитой посудой, черепки ее закреплены на разных ветках. Мне нравится, но хотелось бы узнать ее историю. Увы, никаких табличек вокруг. Пока я разглядываю белизну черепков, сквозь облака пробивается солнце. Сначала робко и нерешительно, потом – смелее и объемнее, оно уже заполняет воздух вокруг, и теперь, пока я иду по веранде, отбрасывает контрастные тени. Мне так нравится, что хочется зафиксировать. Из кафе начинает доноситься бессловесная музыка. И весь поселок говорит со мной через звуки и свет

Ты тем временем преодолел остаток пути до следующего перевалочного пункта, и теперь поднимаешься на четвертый этаж типовой пятиэтажки, где тебе предстоит провести эту ночь. Лифтов в таких домах нет, и вы с **моей Любовью** преодолеваете пролет за пролетом, пока не оказываетесь у черной обитой войлоком двери. Нажимаешь на звонок-кружочек, и мимоходом бросаешь взгляд на глазок, из-за которого тебя наверняка уже рассматривает пара настороженных глаз. Это сейчас они настороженные, а так-то приветливые, но слишком уж много чужаков в последнее время, сердце страны к такому не привыкло. Вскоре дверь открывается, и на пороге появляется невысокая казашка лет 60-ти. Ты говоришь, что разговаривал вчера с ее сыном по поводу квартиры. Женщина кивает. Она одета в простое хлопковое платье с

цветастым узором, и когда она поворачивается, чтобы закрыть дверь, его полы красиво колышутся словно тростник на ветру. Это почему-то напоминает тебе Африку. Волосы с проседью собраны в изящный тугий пучок. Она смуглая, из-под платья видны щиколотки жилистых ног. Женщина прикрывает дверь в квартиру, из которой появилась, и направляется к двери напротив, указывая тебе рукой путь. Лестничный пролет небольшой, и моей Любви приходится потесниться, чтобы пропустить казашку: сквозь нее люди могут проходить, но **моя Любовь** этого не любит. Возможно, она слишком очеловечилась за время путешествий с тобой и чувствует, что ей, словно человеку, разрывают плоть такими вторжениями. Нерационально чувствует, на уровне ощущений

Сию у входа в павильон, так, чтобы быть на солнце и слышать музыку из кафе. Благостно и тихо. Отмечаю, что кофе горячий, но не слишком – все же термос придется выкидывать. Ем бейгл с солодом из Вкусвилла – с сыром и индейкой он весьма неплох. Думаю о том, что очень мало продуктов приспособлено для людей, живущих в одиночку. Хотя сейчас стало лучше: еще пару лет назад если ты покупал кефир, то обязательно литр. Если хлеб, то батон, в лучшем случае резали на половинки, но чаще буханки. Про пирожные и торты вообще молчу: видимо, праздник со сладким был только у больших компаний или семей из 4+ человек. Радоваться в одиночку было не принято. Сейчас можно раздобыть порционные торты и пирожные в индивидуальных упаковках. Для меня все это – победа индивидуализма и наконец-то принятие реального положения вещей. Уверена, что и раньше проживающие по-одному хотели пирожные. Я это всё думаю из-за бейглов: их два в упаковке, и на самом деле я сокрушаюсь, что не могу разделить их с тобой. Такие дела

Женщина открывает квартиру и отходит, пропуская тебя внутрь. Она никогда этого не узнает, но первой решительно заходит **моя Любовь**, берегущая твой покой. Она оценивающе оглядывает квартиру. Не привередлива, но оценивать любит. Это у нее от меня, пусть уж казашка извинит нас обоих. Женщина включает свет, и простая трехрожковая люстра освещает простую, но аккуратную квартиру. Кухня, гостиная, две комнаты. Одна из которых – маленькая спальня. Ты киваешь и достаешь из нагрудного кармана заранее приготовленные деньги, протягиваешь хозяйке, она их принимает и сразу прячет куда-то в складки платья, приглашает тебя к столу. Ты устал с дороги и отказываешься, хотя за время путешествия уже успел понять, что отказываться в Казахстане бесполезно. Она упрямится, просит уважить хозяев дома, и ты сдаешься, уже заранее готовый к капитуляции: лучше сдаваться в таких мелочах, чем в чем-то глобальном. Вы возвращаетесь в квартиру напротив, **моя Любовь** семенит следом. Женщина извиняется за аскетичность квартиры, и хотя она меньше той, которую они сдают, чувствуется, что это помещение – жилое. Множество безделиц и деталей кричат об обитаемости. Со шкафов, полок, стен заявляют о себе свидетельства многолетней жизни многопоколенной семьи. Ты не спрашиваешь, где ее родственники, не интересуешься, когда вернется сын (это с ним ты вчера разговаривал, это он смотрит с фотографии на кухонном столе). Ты немногословен, а **моя Любовь** бы все расспросила, но это – не ее удел. Ты садишься на стул у стены, пока женщина сетует, что не успела доготовить ужин, и спешно собирает на стол, принося откуда-то уже готовую картошку, маринованные овощи, лепешки. **Моя Любовь**

сразу тянется за солнечным зерновым кругляшом, и по-детски ухватывает его двумя руками, кусает и жует, довольная. Ты свой рюкзак поставил рядом, уже по привычке всегда быть готовым подняться и пуститься в путь. Вскоре женщина садится напротив, вы разговариваете на общие темы. Раньше общими темами была погода или наводнившие все вокруг туристы из Китая, рост цен на продукты и истории про путешествия, а теперь нет более общей темы, чем война. Все говорят о войне. Везде говорят о войне. Даже вытесненность темы войны говорит о войне же, и мы с **моей Любовью** надеемся, что Война не слишком мучается от икоты, потому что это уже слишком даже для нее: такой звездой эфира она не ощущала себя со времен Второй мировой. Была, конечно, Сирия, и Чечня, и Афган, Израиль – постоянно. Пора бы ей, бедной, попривыкнуть: тенденций на сокращение числа конфликтов у человечества не наблюдается, так что им со Смертью еще предстоит продолжать свою жатву. «Пахать и пахать», как говорится. Ну ладно, что я все о Войне да о Войне. Да потому что вы и все вокруг только о ней, лучше бы о Любви говорили. (**Моя Любовь** согласно кивает, не отрываясь от лепешки; хлеб – ее слабость)

Убираю термос с остатками кофе обратно в рюкзак, время еще раннее, и я планирую дальше гулять по поселку. На стенде напротив буккроссинга несколько карт с разными вариантами маршрутов, каждый обозначен на карте своим цветом. Беру один из листков и отправляюсь на прогулку. Дома тут очень интересные, видно, что некоторые из них делят две семьи: четко видна граница отделок. Было бы интересно рассмотреть дома с их фасадами или даже интерьером, но такая опция недоступна: большинство их них наглухо закрыты высокими заборами, и о прошлом напоминают только артерии газовых труб. Нахожу себе дом-фаворит – надо будет отправить тебе – когда (если) у меня будет свой, то обязательно с таким сочетанием спокойного темно-серого и глубокого, благородного синего. Я где-то читала, что люди и народы, традиционно занимающиеся изготовлением тканей и их покраской, различают в разы больше оттенков цветов и знают название для каждого из них. Я такой широтой цветового познания не обладаю, но сейчас попробую тебе передать с помощью картинок из интернета.



Так-то, Интернет знает все. Нас с тобой тут интересует «Берлинская лазурь». Роскошная же, правда?

Улыбаюсь свежести воздуха, спилам сотнелетних деревьев, голубизне неба и ломкости подмерзшей травы. Мне 22, и сил в моих ногах еще на целую жизнь. Скоро начнет темнеть, пора бы возвращаться к платформе. Выруливаю на тропинку, которая ведет в сторону новых кварталов: после полосы соснового леса есть длинная естественно-протопанная тропка, и мне на секунду кажется, что я – Элли из страны Оз. Слева и справа от меня возвышаются деревья, над головой – удивительно ясное синее небо с клочками ватных облаков, солнце такое ослепительно яркое, а впереди, на конце этой желтой дороги, возвышается в дымке город. Правда, не сказочный. Хочется пойти дальше, но вряд ли это разумно, а мне еще ловить твои вечерние звонки. Наслаждаюсь лесом еще какое-то время, издалека слышен шум газонокосилки. Время возвращаться домой

Время возвращаться домой наступает и для тебя. Твой дом на сегодня – та квартира напротив гостеприимной казашки. Долго ты не засиживаешься, завтра тебе предстоит продолжить свой путь. Тебя опять будут обдувать южные ветры, припекать жаркое солнце, окутывать полуденный зной. А пока ты благодаришь хозяйку, подхватываешь рюкзак и уходишь в свой сегодняшний дом. Вещи у тебя упакованы так, что самое необходимое лежит наверху, так что не приходится разбирать рюкзак полностью. Ты запираешь дверь, раздеваешься, берешь приготовленное для тебя полотенце и идешь в душ. Смотришь на свое отражение в зеркале, но не долго, ты не склонен к излишней рефлексии и самовуайеризму. От предыдущих жильцов или хозяев тут остался шампунь. Ты не привередлив, и Шаума тебе по душе. (Помнишь, я часто сокрушалась, что у тебя такая гладкая кожа, хотя ты ничего для этого не делаешь? Никаких кремов и масок, разве что солнцезащитных крем для больших высот. Ты и сейчас гладкий как после спа, хотя оставаться таким в Казахстане – почти немисливо). Пока ты моешься, **моя Любовь** озорно разваливается на всю кровать, прям как я делала в детстве, и развлекает себя пролистыванием путеводителя, оставленного на прикроватной тумбочке. Когда ты вытираешься и, замотанный в полотенце, выходишь из ванной комнаты, она признает необходимость потесниться, и компактно вытягивается на своей половине кровати. Ты садишься рядом, достаешь телефон, смотришь на отправленное мной несколько часов назад изображение бирюзового дома и картинку с оттенками синего. Нажимаешь на значок видео-звонка

Твой звонок застает меня в электричке, несущей меня обратно, в Москву. Сигнал не очень хорош, и от камеры приходится отказаться, но мне не нужно видеть тебя через сеть, чтобы знать, что с тобой все хорошо. Я вижу тебя глазами **моей Любви**, слышу твой запах ее носом, ощущаю тепло твоего тела ее ладонями. **Моя Любовь** хранит тебя по ту сторону границ, и будет хранить в любой точке любого мира. Любовь была до нас, и будет после

Нет, будь счастлив ( )  
Звезды не погасли  
Солнце воссияет  
И все снова станет ясным  
Пусть ведет тебя божья рука  
И печаль, что была глубока  
Растворится – и ноша станет легка

Мальчики, которые ждали отправления на Курском вокзале, наконец доехали до пункта размещения. Теперь они выстроились на улице, в сгущающихся сумерках осеннего дня, и ждут указаний. Они стоят и ждут, ведь им велено было ждать. Почти не болтают, тут нет привычных городских стен, нет вечно тревожащейся матери или выступающей устойчивости фигуры отца, только поля и там, вдалеке, казармы.

Им страшно, как страшно перед всем новым любому человеку, страшно не головой, но кожей и внутренностями. И любопытно, как любопытно перед всем неизвестным и ожидаемым любому человеку, любопытно не умом, но чуйкой и инстинктами. Съеживаются от сильных порывов ветра, храбрятся перед товарищами в моменты особенно острой потерянности.

Но ждут не только они. Тут, на плацу, невидимая и вездесущая, между мальчиками ходит Смерть. Вглядывается в некоторые лица более пристально, задерживается у иных, а мимо прочих проходит быстрее. Замечает Печаль, отстраненно стоящую чуть поодаль, направляется к ней деловитой, по-генеральски твердой походкой; о чем-то коротко беседуют. Смерть кивает в сторону мальчиков, Печаль пожимает плечами в неопределенном жесте, и некоторое время молча смотрят на юных мужчин. Смерть достает из кармана пальто пачку сигарет и зажигалку, предлагает Печали, но та отрицательно качает головой. Ночь. В темноте осеннего неба светят звезды, и ярко горит огонек сигареты в изящных пальцах Смерти. Она курит, глубоко затягиваясь, с удовольствием втягивая табачный дым, смакуя его. С сожалением смотрит на догоревшую сигарету, тушит оуток и прячет в жестяную плоску – мусорок поблизости не видно. Тяжело вздыхает, идет к рядам новобранцев. Смерть ощупывает мальчиков, и Печаль терпеливо ждёт